

# *Инженеры человеческих душ\**

\* Выражение Ю. К. Олеши

A close-up portrait of a woman with long, straight, reddish-brown hair. She has bangs and is looking directly at the camera with a neutral expression. She is wearing a thin necklace with a small pendant. The background is blurred, showing warm, out-of-focus colors.

Елена Зейферт

Читайте на стр. 11

# ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал  
Выходит с июня 1955 г.

№3 (698) 2014

«ЮНОСТЬ» © С. Красавин. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс 71120

ISSN 0132-2036

Наша почта: [unost-contact@mail.ru](mailto:unost-contact@mail.ru)

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:  
<https://www.facebook.com/unost>

Главный редактор  
**Валерий ДУДАРЕВ**

## Редакционный совет:

**Ильдар АБУЗЯРОВ**

**Анатолий АЛЕКСИН**

**Лев АННИНСКИЙ**

**Зоя БОГУСЛАВСКАЯ**

**Анна ГЕДЫМИН**

**Тамара ЖИРМУНСКАЯ**

**Елена ИСАЕВА**

**Кирилл КОВАЛЬДЖИ**

**Валерий КОЗЛОВ**

**Владимир КОСТРОВ**

**Нина КРАСНОВА**

**Татьяна КУЗОВЛЕВА**

**Евгений ЛЕСИН**

**Георгий ПРЯХИН**

**Владимир РАДЧЕНКО**

**Ольга РЫЧКОВА**

**Елена САЗАНОВИЧ**

**Александр СОКОЛОВ**

**Борис ТАРАСОВ**

**Елена ТАХО-ГОДИ**

**Олег ТОЛКАЧЕВ**

**Игорь ШАЙТАНОВ**

**Андрей ШАЦКОВ**

## Редакционная коллегия:

заведующая отделом

образования и молодежной политики

**Славяна БАКУНИНА**

главный художник

**Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ**

заведующая отделом критики  
**Анна КОЗЛОВА**

ответственный секретарь  
**Ярослав ЛИТВИНЕНКО**

заведующий отделом культуры  
**Александр МАХОВ**

заместитель главного редактора,  
заведующий отделами  
прозы и поэзии

**Игорь МИХАЙЛОВ**

заведующий отделом  
зарубежной литературы

**Евгений НИКИТИН**

главный консультант

**Эмилия ПРОСКУРНИНА**

заведующая отделом  
публицистики

**Екатерина САЖНЕВА**

консультант главного редактора  
**Евгений САФРОНОВ**

директор по развитию

**Светлана ШИПИЦИНА**



## Елена ЗЕЙФЕРТ

Елена Зейферт родилась в 1973 году в Казахстане, в городе Караганда, куда в сталинское время были депортированы ее предки. С 2008 года живет в Москве.

Автор книги прозы «Прозрачность век» и книг стихов «Расставание с хрупкостью», «Детские боги», «Я верю в небо», «Веснег», «Верлибр: Вера в Liebe», «Имена деревьев».

Доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. В Москве организовала и ведет литературный клуб «Мир внутри слова» и литературную мастерскую «На Малой Пироговке» — рада каждому новому гостю.

Прозу писала уже в школе, тетрадки с ее рассказами ходили среди ровесников... Став студенткой филологического факультета, отступила перед напором классики, на несколько лет замолчала.

Филологом стала потому, что любила писать. Жила в Казахстане, поступать в московский

вуз родители не отпустили (конечно, хотела в Литературный), и осталось одно — филфак. Но совсем не жалеет об этом, а даже рада — ведь обрела новую грань, стала литературоведом.

Елена Зейферт полностью погружается в тот или иной вид литературного творчества и с наслаждением ощущает себя его представителем. Но больше всего любит писать художественную прозу — это творчество сродни искусному ткачеству.

Юрий Мамлеев называет прозу Елены Зейферт «мифологической и реалистической одновременно», «живой, направленной к сердцу, и одновременно интеллектуальной».

В одном из интервью Елена Зейферт сказала: «Литература для меня — это окружающее пространство, в котором и во многом ради которого я бытую».

Елена Зейферт — автор публикаций в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Волга», «Крещатик» и др.

## НАСЛАЖДЕНИЕ БЫТИЕМ

Проза Елены Зейферт живая, направленная к сердцу, и одновременно интеллектуальная. Как и сам автор — человечный и думающий. Проза многоголосная — написанная от лица героев, героинь, от первого лица, порой в виде дневника, говорящая с разных точек и углов зрения.

Елена, творчество которой недавно было отмечено европейской премией, проявляет себя как автор стихов, прозы и критических, литературо-

ведческих работ. Эти виды творчества находятся у нее в гармонии.

Произведения Е. Зейферт играют просветляющую роль. Не все пропало, если мы еще можем ощутить, как страх и восторг теснят наше сердце, как сердце ребенка. Каждый может разрешить себе наслаждение бытием. Тем чистым благом, которое человек может в себе открыть.

Юрий Мамлеев

## ДОВЕРИЕ

**О**чень рано обнажилась в этом году земля, и серый, почти черный тающий снег уже не скрывал трещин, прорезавшихся в почве из-за прошлогодней летней засухи. Февраль выдался жалкий, мокрый, слезливый.

— Леш, что-то Красуля беспокоится, — сказала мать отцу. — Того и гляди, не в марте, а в феврале отелится. Хоть бы не прозевать. В прошлом году-то теленка потеряли.

Иван, насупленный, несчастный, сидел на холодной веранде и прислушивался к разговору родителей у дверей дома. Сегодня собирались резать Митьку, доброе широколобое существо двух лет от роду. Бык Митька тоже был сыном Красули. Иван встал пораньше, чтобы идти в сарай, к быку, но почему-то застопорился на веранде. Что-то мешало, сковывало. На душе было больно.

— «Резак» обещал к трем освободиться, он сегодня у Семеновых режет. В полтретьего поедем за ним. Килограмм пять мяса за работу возьмет. Хороший «резак», тетя Клава хвалила. Он им свинью резал и разделявал, за два часа управился. Приходит резать обычно с сыном, ровесником нашего Вани.

Слова были резкими и страшными — «резак», «режет», «резал», «разделявал»... А голос у мамы — каким-то влажным, будто слезы стояли в нем.

Было часов полдевятого утра. Иван прошел на кухню, отломил хлеба, зажал ломоть в руке. Глянул в окно. Отец как раз выводил Митьку во двор, на последнюю прогулку, и тот шел возле хозяина безропотно и грузно. Мать Ивана шла рядом, но на быка старалась не смотреть.

Мальчик знал, что родителям жаль Митьку. Когда придет «резак», мама уйдет к соседке или в магазин, а может, займется стиркой, чтобы шум стиральной машинки заглушил страдания Митьки. Деловитой беседой о Красуле и «резаке» мать успокаивала себе нервы. И отец любит этого послушного, спокойного быка. Ночью отец спал беспокойно, несколько раз вставал и шумно пил на кухне воду.

Отец привязал Митьку к изгороди, сходил на сеновал, принес быку отборного сена (кусочек счастливого лета!), погладил по голове и ушел.

Хозяйство родители Ивана завели три года назад. Весной купили Красулю, к следующей весне у нее родился Митька.

— Вань, ты что раскис? — Мать вошла на кухню. — Не он первый, не он последний. Ты ведь колбасу ешь, а она сделана из таких же Митеек, как наш.

— Я больше не буду есть колбасу.

— Ну, сынок, это ты зря, — поддержал разговор вошедший вслед за мамой отец. — А то, что ты любишь животных, — это хорошо. Очень хорошо.

На отцовских кудрях повисли сухие травинки. Они подрагивали при каждом движении.

Мать поставила на стол сковороду с жареной картошкой, соленые помидоры в миске, отец нарезал хлеба.

— Вот скоро Красуля отелится, пойдет молочки, творожок, масло... А то уже соскучились! Правда, Ванюша? — защебетала мама.

— Да, мать, — поддержал разговор отец, — Ване ох как надо молочные продукты наяривать! Он на Красулином молоке как на дрожжах растет.

— Ма, мам, — вдруг заканючили Иван, — можно я пойду попрощаюсь с Митькой?

— Да успеешь, сыночек, — робко остановила мальчика мать, — ты поешь хорошенько, куда ты спешишь, впереди еще полдня прощаний.

Есть совсем не хотелось. Может быть, если бы Митька не родился в суровую-суровую зиму и не прожил несколько своих первых дней вот здесь, на кухне, Иван так не привязался бы к нему. Отец занес новорожденного Митьку в дом ночью. Как по-тешно тогда бычок пытался встать на свои тонкие ножки, но материя, на которой он лежал, скользила по крашеному полу. Митька падал с грохотом, однако, распластавшись, уже опять пытался подняться. Отец поил его молочком из ковшика, подставляя в рот бычку свой палец, и Митька сосал молочный палец, жмурясь от удовольствия. Сейчас, конечно, это уже не тот Митька, забавный, беззащитный малыш. Впрочем, беззащитен он и сегодня. Даже более беззащитен, чем в первые дни жизни.

Иван вышел во двор. Митька обернулся к нему лобастой головой, грустно замычал. Нетронутым

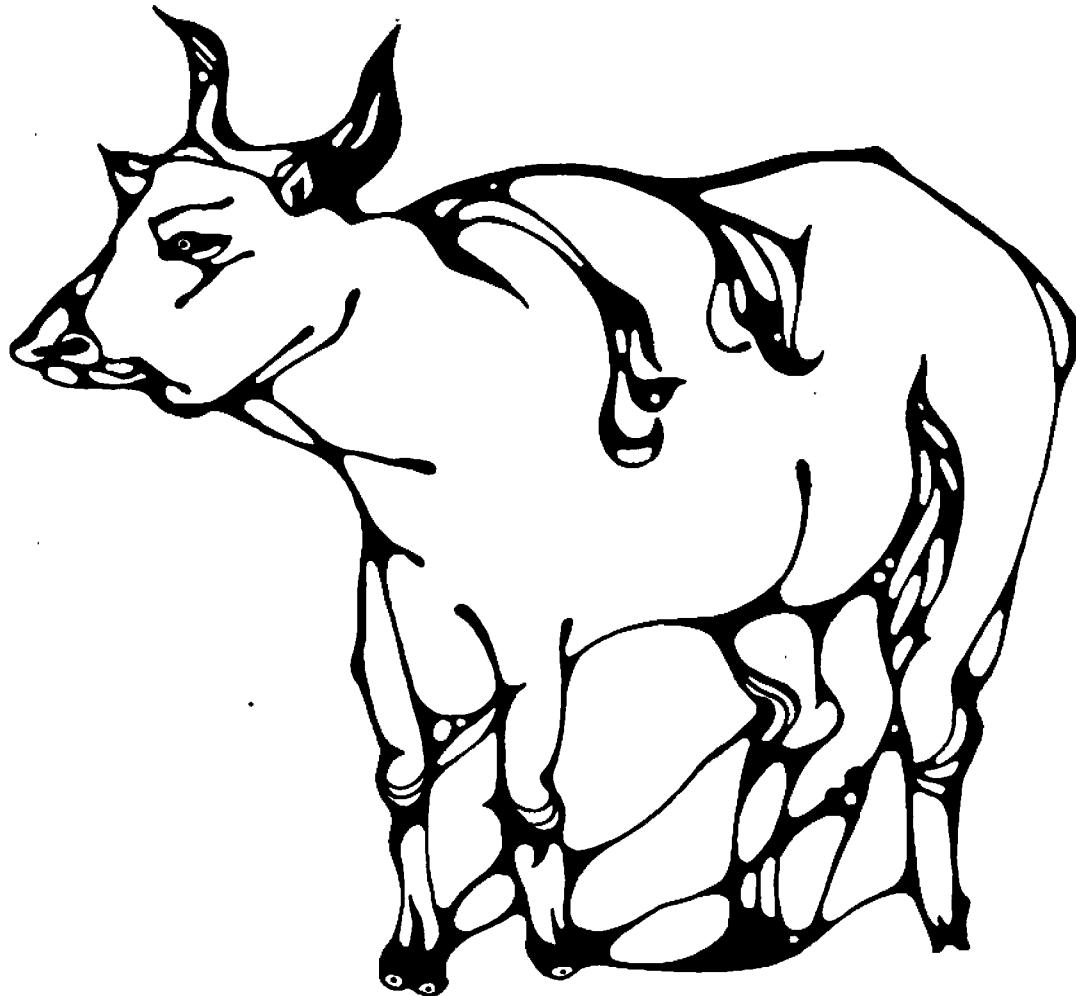


Рисунок Лили Калаус

лежало возле быка сено, источая губительный запах позднего августа, рубежа, когда солнце потихонечку начинает переходить к невысокой зимней планке.

Глаза у Митьки обведены белесыми веками, пучочки ресниц — как у обиженного щенка. Глубокие, изогнутые ноздри тянут в себя воздух, раздувая крутые бока.

Иван дал Митьке хлеба — мякиш слился в руке, корочка потрескалась, но бык вежливо взял с ладони мальчика теплый гостинец и начал медленно жевать. Мальчик заплакал. Слезы капали на опущенную Митькину морду.

Иван полдня не отходил от Митьки, не зная, чем ему помочь. Враг (время!) был невидим и неуязвим, победить его было невозможно.

Родители уже уехали за «резаком». Было где-то без пятнадцати три.

— Эй, пацан, собаки у вас нет? — Какой-то мужчина в спортивной куртке стоял у калитки.

— Нет, — слабым голосом ответил мальчик. — Она умерла летом, старая уже была.

— Жа-а-алко, — печально протянул мужик. — Как звали-то ее?

— Найда.

— А быка как зовут?

— Быка зовут Митька.

— В честь тебя, что ли, назвали? — Мужчина был приветливым и очень любопытным.

— Нет, меня зовут Иваном. Вам папу с мамой? Их нет дома. Они уехали.

На секунду показалось, что мужчина обрадовался. Но вслух посетовал:

— Эх, жаль, они бы мне очень нужны.

— Да вы не расстраивайтесь. Родители после трех приедут. Они за дяденькой поехали, который будет Митьку резать.

Мужчина прошел во двор. Лицо у мальчика было заплаканное.

— Вань, а тебе, я гляжу, бычка жалко?

— Очень! — горячо прошептал Иван.

Гость похлопал Митьку по правому боку:

— Эх ты, животина, не успеешь на свете божьем пожить немножко, как уже умирать пора! Слушай, Вань, — мужчина голубыми-голубыми, добрыми глазами заглянул мальчику в глаза, — а тебе сколько лет?

— Семь. Я в первый класс хожу.

— Вас в школе учат любить животных?

— Ну да, учат.

— Это хорошо. У меня для тебя радостная новость. Митьку никто резать не будет. Я знакомый твоих родителей. Мы случайно встретились у того дяденьки, и я попросил их продать мне быка. У меня в деревне целое стадо коров и быков, там Митьке будет хорошо, привольно. Дождется твой Митька до старости.

Лицо Ивана засияло от счастья. А мужчина, уже отвязывая быка, продолжал тараторить:

— Деньги я родителям за Митьку отдал. Так что ждать их не буду. Они, кстати, пообещали купить тебе на эти деньги классный фотоаппарат, а может, и велосипед ко дню рождения!

— Ух ты!

— А быка своего ты сможешь увидеть когда захочешь! Да я хоть завтра заеду за тобой, и мы рванем к Митьке, в деревню. Или послезавтра.

Неподалеку от дома стоял грузовик.

— Вань, у вас есть доски?

— Да, есть в сарае.

Мужчина принес из сарая доски, открыл задний борт грузовика, приставил к кузову несколько досок и повел по ним Митьку в машину. Бык громко мычал, артачился, и мужчине пришлось хорошенько огреть его еще одной, не пригодившейся для сходней доской. Иван испуганно охнулся.

— Смотри-ка, Вань, не понимает твой Митька своего счастья! — Добрые голубые глаза одновременно виновато и удивленно взглянули на мальчика. — Вот дурачок, правда? — Мужчина закрыл борт.

Митька быстро заходил по кузову, тычась мордой в разные стороны, пытаясь найти выход, но тщетно. Бык повернулся назад, к Ивану. Мальчик заулыбался ему.

— Митька, ты теперь спасен! Дяденька, а он любит хлебушек, запомните, пожалуйста!

— О, конечно! Черный или белый хлебушек? Ну, бывай, Ванюха, я скоро приеду! — Не дождавшись ответа, голубоглазый Митькин спаситель уже садился за руль. — Маме с папой привет, скажи — не дождался их дядь Костя, не было времени! Передай предкам, пусть хороший фотоаппарат купят! А велосипед обязательно спортивный! — Мужчина подмигнул Ивану, лихо посигналил и поехал.

Сердце мальчика отчаянно колотилось. Митькина морда исчезала из виду, ныряя по неровностям проселочной дороги.

## Крошка Цахес

(НЕСКАЗКА)

**М**ежду собой они громко называли ее Крошка Цахес. А в глаза не звали никак. Как будто ее, маленькой, круглой, в стареньком платочек на седых волосах, вообще не было.

В квартире, где она раньше жила с сестрой, а теперь, после ее смерти, с племянником и его женой, было четыре комнаты. Она жила в одной из них, крохотной, и каждое утро, день и вечер видела перед собой одно и то же — старый табурет, свою раскладушку, шкаф с разными своими «сокровищами», стены, заклеенные темно-серы-

ми, почти черными обоями, и окно, выходящее на выложенную листами железа крышу.

Ночами в этой комнате ей снились сны о ее беспомощности. Она видела, как на заснеженной железной крыше лежал крольчонок, жалкий, цвета инея, крохотный и круглый, а она все боялась спросить у своих — Аркадия и Раи, — можно ли ей взять его к себе. И живой комочек облепился снегом, и четко стали видны лишь его голубой замерзающий нос и закрытые глаза. А как-то к ней билась огромная птица и глядела такими страшными и безжалостными глазами, что старушка потом весь день

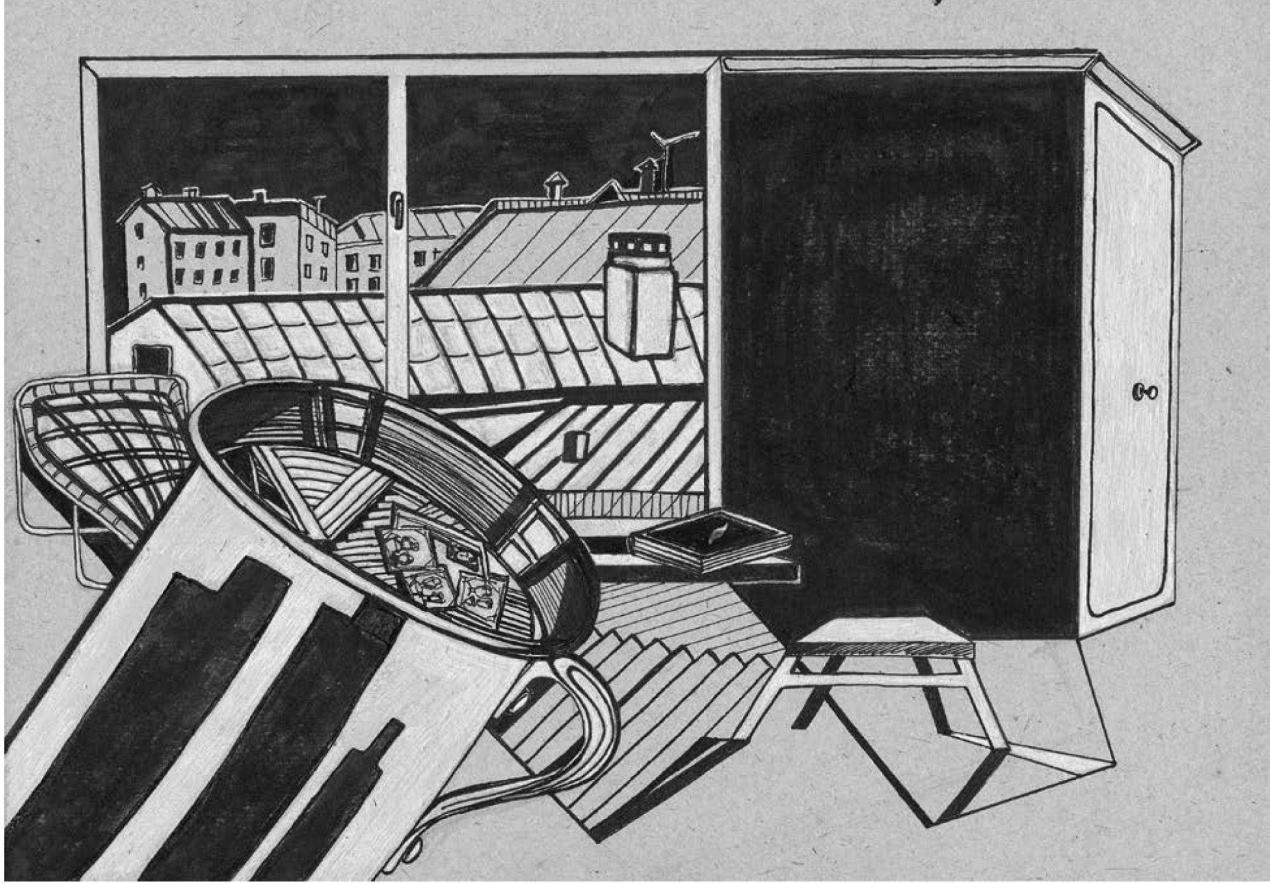


Рисунок Антонины Решетниковой

не выходила из своей комнаты, боясь, что от страха не сможет вернуться туда — в свое одиночество.

А находиться в других комнатах ей и не полагалось. Они не кричали на нее, не устраивали ей скандалы, они просто не видели ее, потому что ее для них не было. Но лишь до той поры, пока она сама не пыталась как-то напомнить о том, что она существует. Старушка явно не входила в их планы, она угнетала их — своей старостью, маленьkim ростом, седыми волосами. И она вела себя так, как будто ее не было. Стойко, без лекарств переносила болезни, тихонько донашивала старые-старые вещи. Пенсия ее шла на общий стол, но столовались на кухне, и выйти к столу для нее было усилием воли. Сколько она обмирала и крепилась духом, прежде чем скрипнуть своей тяжелой дверью, — бог весть. А потом, почти беззубая, страстельно глотала нежеваные кусочки и, если была на кухне одна, ела хлебный мякиш, размоченный в воде. Она уносила его к себе в комнату в большой железнной кружке, чтобы потом как можно дольше не покидать своего убежища.

Любимым занятием ее было... показывать свои старые фотографии. Альбом лежал в шкафу,

на самой почетной верхней полке, бережно обернутый какой-то тряпицей. Альбом был небольшой, на темно-синей крышке его переплета значился кусочек крыла, оставшийся от пластмассовой белой чайки. Лица на фотографиях расплывались в старых глазах хозяйки, но удовольствием было не видеть фотографии — умершей сестры, племянника, свои в молодости, а показывать их воображаемому заинтересованному гостю. Гость удивлялся, переспрашивал подробности и был более чем благосклонен к ее рассказам об изображенных на фото родственниках.

«Вот здесь еще мама была жива, это мы втроем — мама, сестра и я... Сестра меня позвала жить к себе, да сильно болела уже и вскоре умерла. Вот я и живу сейчас с племянниками, они сюда переехали ко мне. А вот и Аркаша в детстве, я его таким плохо помню...» Вдруг она слегка вздрогнула и как бы очнулась. Едва ощутимое воспоминание проникло в ее болезненно одинаковый мир и начало обволакивать, сладостно и тонко.

Гость откинулся на спинку воображаемого стула и деликатно исчез, как никто, понимая ее, как всегда, послушный. Она испуганно, но с явной

охотой погружалась в мягкое приятное кружево — молодость... запах своих длинных волос... чей-то голос... Полнота жизненных красок исходила извне, она встала, как будто кто-то крепко взял ее за маленьющую, беспомощную руку, и вдруг поняла...

По телевизору, в гостиной, показывали фильм ее молодости. Легкий сюжет, счастливый конец... красивая сказка — быть может, это все, что было хорошего и полного в ее жизни. Она смотрела этот фильм в летнем кинотеатре, рядом с любимым человеком, смотрела не дыша, не слыша, не видя. Она была счастлива бесконечно. И не так важно, что он не любил ее ни тогда, ни потом, никогда. Важно было то, что счастье было. Она легко отворила тяжелую дверь и уверенным шагом прошла в гостиную. Не отрывая взгляда от экрана телевизора, старушка присела на диван и в упоении замерла.

Аркадий отодвинулся и, удивленно и зло усмехаясь («Рая! Крошка Цахес устроила бунт!»), переключил на новости.

Старушка сначала не поняла, что произошло. Она испугалась — того, что она находится в гостиной, рядом с племянником, того, что племянник

так рассержен и в то же время так спокоен, но, главное, того, что сказка кончилась, и — для нее — навсегда. Старушка поднялась и медленно побрала к себе в комнатку. Рая спокойно читала журнал.

Наутро, когда Аркадий и Рая куда-то ушли, она осторожно вышла. Ночью она не видела ни жалкого маленького крольчонка, ни страшной большой птицы — она не могла спать. Бесследно и, видно, навсегда исчез и воображаемый гость. Альбом лежал на табурете, не покрытый тряпицей.

Крошка Цахес прошла через гостиную в спальню и потрогала ладонями маленький черно-белый телевизор, который Аркадий, часто натыкаясь на него, грозился выбросить из окна. Как было бы прекрасно иметь в своей комнате безобидное говорящее существо — замену друга, как было бы прекрасно. А еще ей очень хотелось знать, плохим или хорошим человеком был тот самый крошка Цахес, именем которого прозвал ее племянник. И может ли большая птица не смотреть в окно, а оглянуться и закрыть крылом живой замерзающий комочек, и узнает ли кто-нибудь, что же происходит за тяжелой дверью, в таком беззащитном, уже почти детском мире?..

1998 г.

## ДВЕ БАБУШКИ

**М**оя бабушка по матери была донская казачка — жесткая, чернокосая, с крепкими ладонями из-под оборок расшифрованных рукавов (и с работойправлялась не споро, спустя рукава), небольшого роста, но яркая, живая, верткая. Почему-то мне помнится, что от нее пахнет смолой и пашней. Я вспоминаю о ней, умершей, с нежностью (так нас рассудила жизнь), хотя в детстве люто ненавидел свою бабку Варвару, боялся ее и даже желал ее смерти.

От хлесткой бабкиной руки меня спасал дед Митяй. Как сошлись такие противоположности, лишь Господь объяснит. Дед был добрый, безобидный, совсем маленький, даже ниже небольшой моей бабки (и я пошел в их породу, в их тягу к земле, а не к небу). Он был очень щупленький, покупал себе в сельпо подростковые вещи, занавивая их потом до похмелья.

Мать моя Оля очень рано ушла из жизни, имя моего отца никому и перед смертью не раскры-

ла. Я помню ее лишь восковую и странно длинную, лежащую на старинной деревянной кровати, но четче помню в этот момент лицо бабушки над мамой. Открытый бабкин лоб (косынка брошена у порога) четко разделен смоляным загаром: прямо возле волос лоб нежно-белый, как мороженое пломбир, которое мне удалось однажды отведать по доброте дедовской души. «Ох, оставила нам, горе луковое, дармоеда своего Валерку...» — это — над смертным одром — слова бабушки о маме и обо мне, сидящем по другую сторону кровати и смутно чувствующем над собой зависшую длань судьбы, не женскую, бьющую еще больше бабушкиной.

Дед Митяй шоферил и иногда брал меня с собой в дорогу. Для меня это путешествие было целим ворохом счастья. Даже взрослым, весьма крепко ставшим на ноги, перед туристическим круизом по Европе я не испытывал чувства более радостного, чем ожидание поездки с дедом в запыленной кабине грузовичка по колдобинам деревенской России.

Все, что «хорошего» лежало на дороге, дедуя бережно поднимал, складывал в кузов — шестерни, дырявые покрышки, доски и досточки, ржавые пилы, газеты, тряпки, остав гитары, бочку с застывшей на дне краской. При погрузке бочка упала деду на ногу, раздробив стопу, но он stoически переносил любую боль и любые трудности, кроме страха перед властью — бабкиной, председателя совхоза, милиционера. Воле жены своей дед Митяй сопротивлялся, только если нужно было защитить меня.

К концу того же дня дед нашел на дороге детскую шапочку-«петушок», натянул ее на голову (был конец сентября, и к вечеру становилось уже довольно знонко), мы поехали дальше, и нас вдруг остановил гаишник. Дед от страха едва не вывалился из кабинки — с «петушком» на голове, в ветхой кофте, как бы простреленной всюду дробью (ее мы тоже как-то нашли на дороге), в мальчиковых бриджах, надетых стрелками и пузырями от колен назад. Из глаз и носа его потекло, он, еще не зная причины остановки, затянул жалейку: «Милочек... сыночек... да я же... да ты... я ничего...» Гаишник взглянул на деда и... расхохотался. Я видел, как в смехе задергалось его адамово яблоко, а дед Митяй подгогатывал в такт человеку в форме. Мы тронулись с места, и я глотал слезы обиды за своего деда, по-своему умного человека, отличного сказителя баек и анекдотов, знатного балагура.

Вечером мне крепко досталось от бабки. Следуя примеру деда, пока тот возился с бочкой, я нашел на дороге и радостно прибрал с собой разные цветные стеклыши. Они были желтыми, красными, синими, зелеными (ах, откуда только!) — я чувствовал себя едва ли не властелином радуги, ее богом, способным создавать радугу в любую секунду. У меня никогда не было игрушек, купленных в магазине, — кроме деревянной куклы в расписных платке и юбке, с изящным коромыслом, подаренной мне незнакомым дядькой за окопицей (я по сей день считаю, что это был мой отец, и живо помню его смоляные мягкие кудри, немного цыганские, нежные глаза и ядреные передние зубы, между рядами которых дымилась папироска).

Дома я тут же бросился прятать стеклыши в куче песка на огороде. За этим занятием меня и застала бабка. Дед не успел мне на помощь, видно, из-за большой ноги.

В руках у бабки была скакалка — ненавистная для меня вещь, оставшаяся у нас после визита моей двоюродной сестры Алиски, баловницы судьбы, дочки брата моей матери дяди Андрея и



Рисунок Лили Калаус

его модницы жены тетки Инессы. Бабка наподобие не могла на свою «благополучную» внучку, и я испытывал острые приступы нелюбви к сестре с невыразительным остроносеньким лицом, в кукляных витых бесцветных кудряшках, в кружевном зеленоватом платье.

Теперь Алискина скакалка плясала по моей спине, по моим плечам, по моему лицу... И бабки-Варварины злые слова плясали по моему лицу: «Иш-ш-шь ты, нанес хлама в дом... весь в Митяку и в Ольку блаженную... дармоед...» Единственным утешением для меня, сидящего после

побоев в проволочном цыплятнике среди желтых комков (наседка вывела семерых цыплят к осени) и немо ревущего, осталось красненькое стеклышко. Я крепко зажал его в ладони, когда бабка меня била, и теперь оно, с острыми гранями, уже не аloe, а бордовое от моей засохшей крови, радовало меня общностью наших одиноких судеб — все другие стеклышки бабка выбросила в нужник. Я завязал стеклышко в холщовую тряпицу и спрятал в дупле высокого крепкого тополя, растущего в нашем дворе.

У меня и теперь на ладони две белые христовы отметины от того стеклышка.

Как только я окончил восьмилетку, я уехал от бабки, и возвращался в ее дом лишь однажды — на похороны деда Митяя. Оказывается, до деда умер и тополь: бабка содрала с него зимой кору на растопку, попросила соседских мальчишек спилить часть веток (дед захандрил и заготовкой дров заниматься уже не мог), и дерево-великан приказал долго жить, пустив весной лишь несколько молоденъких побегов. Сухой тополь стоял посреди двора памятником безмолвия.

Я поцеловал скрюченные пальцы деда Митяя, его узкий лоб. Дядя с теткой и Алиской не приехали, бабка несколько раз выходила их встречать за окопицу, но их потом так и не было.

На следующий день я проводил деда в последний путь, бросил горсть земли на деревянную крышку гроба, бросил взгляд на дупло-тайник (кладбище занимало пригорок недалеко от нашего дома) и зашагал прочь.

Через полтора года я получил от бабки письмо. Она писала, что домишко совсем захирел, вот-вот обвалится (да ведь держался, в основном, на деде Митяе), и не помогу ли я, «внучок», «Валерчик», купить ей однокомнатную квартирку в городе. Без деда бабке, как видно, стало трудненько жить в деревне. Я помог, купил ей квартирку в городке близ ее деревни. Алиска к тому времени вышла замуж за канадца, дядю с теткой перетащила в Америку, а про бабку совсем забыли — жисть-то в капстранах нелегкая.

Время не останавливалось. Мой старший малыш уже ходит в школу, и, глядя на его разноцветные счетные палочки, я чувствую, как меня неумолимо тянет к сухому тополю, к праху деда Митяя, а может, и к бабке Варваре?.. А младший, держась за руку бабушки, моей тещи, вдруг проридически упрекает: «Папа, а у тебя есть бабушка?» И любопытный ротик несмышеныша приоткрывается в ожидании ответа.

...Я навещаю могилы матери и деда. Поставил им хорошие памятники. Возле оградок посадил

тополя — первенцев друга моего детства, в дупле которого уже не оказалось тряпицы со стеклышком — наверное, ее давно унесли птицы, а может, любопытные мальчишки. И сердцу чего-то не хватает. Боли?

Сердце не камень. Где-то живет моя бабушка, моя единственная после дяди старшая родственница. Живет, лишенная правнуков, да еще таких замечательных, как мои дети. Живет, обойденная лаской моей жены Даши. Живет без внимания внука — без моего внимания. А живет ли?

Я поехал в ее городок. Сел на лавочку возле подъезда, хотел сначала расспросить соседей, жива ли?! Да, говорят. Утром, часов в шесть, копается в дворовой мусорке. Днем стесняется. Роется на ощупь, зрения почти нет, а может, и совсем нет. Но на то, что не видит, никому не жалуется. Живет без света, давно отключили за неуплату, — да и зачем слепому свет? Запах у нее в квартире немыслимый, мимо проходим — затыкаем ноздри: старушке, видно, трудно убирать в квартире, да и носит домой всяющую гниль. Как тяжелые плиты, падали на меня эти слова.

И тут я увидел бабушку. Это была другая бабушка, моя и не моя. Она вышла из подъезда, ветхая, в чрезвычайно заношенном, как бы прошитом мелкой дробью платье, в сизо-грязном платке на голове, в стоптанной брезентовой обуви. В ней остались еще крохи ее прежней гордости и чистоплотности, но какой ценой я это понял, что я увидел! На тоненькой, полуоборванной веревочке моя бабушка с усилием волочила цеппофанный пакетик с мусором.

Для старушки этот вынос мусора был, видно, одновременно и прогулкой, и вылазкой в общество. Услышав людской щебет, она присела на скамеечку напротив. Женщины, сидящие возле меня на лавочке, молча показали мне глазами на старушку.

Немея от горя, я смотрел на свою бабушку и не узнавал в ней бабки Варвары. Подсознание (или воображение) возвращало мне ласковое прикосновение ее рук к моей детской коже, ее добродушное лицо, склоненное над моим, младенческим: «Кто ты, маленький мой? ты наш? на кого ты похож?», ее бабий плач по умершей дочери: «Олька, вернись, Олька...» И робко-нежное «Валерчик» над моей грубо сработанной колыбелью...

За радость, что получится в глазах слепого человека, отпускаются все грехи. Я подарил своей бабушке радость — забрал ее жить в нашу семью. Читал ей вслух книги — небольшая ведь разница, я ли прочитал ей их сейчас, она ли прочитала бы мне

их в детстве... На восьмидесятый день ее рождения дети славно пели на английский манер «С днем рождения тебя...», а я сидел рядом с бабушкой и

видел, как жалко силятся глаза ее увидеть внука и поющих правнуков...

## ГЛИНЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК

*Какая польза бегуну от быстроты ног и силы легких,  
если все в испуге разбегаются от него?  
Град сильнее дождя, но у него нет на земле друга.*

Николай Сербский

**Н**ервные окончания моих пальцев дышали кромочком глины, из которого я скатал сейчас маленький шар, — кожа заметно откликалась на зов глины, не покалыванием, не раздражением, не физическими, но какими-то ментальными споями эпидермиса. С ранних лет я мечтал о таком контакте с материалом. Я подбросил шарик на ладони...

Мастерская Эмиля была просторной, темной, из углов и со стен глядели пустыми глазницами бедные Йорики (Эмиль одно время бредил идеей скульптурного образа Гамлета и начал изображение с вариантов детали — черепа шута в колпаке), куртизанка Нана с наливной грудью, бронзовосмуглый Рабочий в каске до самых глаз, красавица Кармен с длинными металлическими кудрями. Их было много, и казалось, что живые они, а не я, раздавленный пережитой сегодня драмой.

Когда я зашел в мастерскую, то едва не закричал. Обнаженный Эмиль с кустистыми волосами на груди и ногах, голая белокожая Рита... Они были скульптуры в своем завораживающем любовном ритме (он лежит на грубом дубовом столе, одна нога вальяжно согнута, она же, мой хрупкий белогривый ангел, восседает на его чреслах), как восковые механические куклы, — ра-а-аз, ее тело насиживается на кол его страсти, два-а-а, он отпускает ее парить к небесам, ра-а-аз, два-а-а... Я тихо вышел. Впрочем, моя осторожность была излишней — она была погружена в него, он растворился в ней. Я закурил, обжигая пальцы, опаливая ресницы.

Через полчаса я вернулся к ним. Голубые глаза Риты, ее испуг («А вдруг бы он зашел раньше?»), взгляд, метнувшийся к Эмилю. Татарские скулы Эмиля, древний прищур, доставшийся ему от какого-нибудь из пррапредков, кстати, тоже охочего до русских жен. Я — третий лишний.

У Риты сегодня самолет в полночь. Она летит в Париж, куда несколько раз в месяц сопровождает делегации или туристов: как-то я взял турпутевку во Францию и познакомился с милым экскурсоводом-переводчицей Ритой, хрупкостной красавицей, постреленком, смешливой девочкой. Теперь это диво ускользало из моих тонких ладоней в жилистые руки моего друга.

— Ты, Витя, проводишь меня в аэропорт? — Рита робко заглянула мне в глаза и тут же отвернулась.

Я медлил с ответом, боясь, что сорвется голос. Эмиль прямо уставился мне в лицо.

— Конечно, — глухо произнес я, подошел к дубовому столу и провел ладонью по его шероховой поверхности. Я представил грубые занозы на спине Эмиля и нервно вздрогнул.

— Ну, ребята, мне пора, — засуетилась Рита, теребя легкую ткань фиолетовой юбки. — Я еще вещи не уложила, а лететь на целых шесть дней. Витя, да что с тобой? — Ее пухлые губы прикоснулись к моей щеке. Я отдернулся. — Какая оса тебя укусила?

— Все в порядке, Рита.

— Заезжай за мной в десять. О'кей?

— Угу.

Рита подхватила свою сумочку, показавшуюся мне излишне кокетливой, и вышла из мастерской.

— Я видел тебя, Виктор, когда ты входил сюда, — честно и как-то невыразимо угрюмо сказал Эмиль. — Извини.

— Зачем тебе она? — просто спросил я.

— Зачем она тебе — лучше ты мне ответь! Она сама пришла сюда, и, хочешь верь, хочешь не верь, на ней не было нижнего белья. Запах французских духов, тонкая фиолетовая юбка, сиреневая майка. И сумочка с презервативами.

— Она любит тебя? Давно?

— Какой ты дурак! — возмутился Эмиль. — О какой любви может идти речь? Я не подпускаю к своей душе мартовских кошек.

Я ударил его по щеке. Как девчонку. Нет, как девчонка. Он отпрянул, но не закипел, взял себя в руки.

— И тебе советую не подпускать, — тягуче произнес Эмиль. — А чтобы ты понял это раз и навсегда, я расскажу тебе, как это произошло. Тебе интересно?

— Нет.

— Но я все равно расскажу. Она пришла ко мне сегодня в час дня...

— Замолчи!

— Она как бы шутя попросила нарисовать ее голой. Я сказал, что я не художник, а скульптор. «Тем более, — ответила она. — Изваяй меня, я очень красивая». Дальше, милый, еще интереснее.

— Мне это неинтересно.

— Она стала задирать перед юбки. И постепенно подняла до самого пупка. Волосы на лобке у нее светлые, такой золотистый пушок...

— Заткнись!

— Сказала, что с тобой ей скучно, что ты однобразен в постели, словом, ты не художник.

— Пусть. — Я обессипел от всей этой истории.

Эмиль принял готовить для работы глину. Она была изумительно белой.

— Будешь ваять Риту? — горько усмехнулся я.

— Я ценю твой юмор. — Он вытер лоб запястьем. — Я бы никогда не лег с твоей женой, даже если бы любил ее... Но Рита тебе не жена, Рита дешевка. Ты только послушай. Она взяла...

Два часа я сидел возле него и следил за руками скульптора. Когда Эмиль открывал рот, я умолял его замолчать: «Мне и так плохо». Он долго не унимался, но наконец затих, завороженный глиной в своих руках.

— Эмиль, проводи Риту в аэропорт. Я прошу тебя.

— У меня нет времени.

— Проводи ее и расскажи, что я вас с ней видел. Я прощаю и прощаюсь.

— И со мной? — В татарских глазах его засвертился явственный испуг. Мне это понравилось.

— Конечно, нет. — Я пододвинулся к Эмилю вплотную. — Иди, друг.

Через пятнадцать минут он ушел, вымыв руки. Глина все же забилась под его ногти, в поры кожи — мое сознание не оставляли библейские аллюзии. Да и разве Эмиль не Творец? За один вечер он сотворил из моей любви глиняные осколки. Как хрупка глина, из которой сотворен человек...

Шарик глины еще раз подлетел на моей ладони и плюхнулся на пол. Я поднял его. Падение выдавило на глине кое-какие отметинки, и шар стал похож на голову — вот один глаз, а это бровь над другим, не существующим глазом, а здесь могла бы быть ушная раковина, а не ее жалкий эскиз. Я принял за работу.

Вместе с Эмилем мы учились в художественной школе. Я мечтал стать художником или скульптором, Эмиль — нет. Но, увы, мне не было дано умение творить. Художественное развитие мое остановилось на умении намалевывать букет (или цветовое пятно) сирени, а в быту — склеить картонного коня или вылепить пластилиновых солдатиков братишке, виртуозно вырезать елочные украшения и гирлянды. Одаренный Эмиль по настоюнию педагогов не оставил детское увлечение. Он окончил престижный институт с дипломом скульптора и стал затем городской знаменитостью. Отсюда и обостренный интерес женского пола к нему — известному скульптору, да еще и такому породистому тридцатилетнему красавцу.

Как ни странно, но сегодня пальцы слушались меня превосходно. Белая глина пела под моими руками. Я вылепил человечка — пропорционально сложенного, большеглазого, прямоносого мужчина. Ростом он был сантиметров пятнадцати, не более. Белые волосы откинуты со лба. Лицо гордое, открытое. Я положил его на дубовый стол и немного полюбовался. Чего-то не хватало глиняному человечку для цельности. Я поднял с пола Ритину шпильку и сделал ему пуп.

Когда я проснулся (а заснул я, облокотившись о тот же стол), то от удивления сильно закричал. Это испугало глиняного человечка, сидящего на книге Эмиля «Скульптура Древней Греции». Меня же испугало и обрадовало то, что он был живой. Он закрыл руками уши (значит, они слышали!) и тихо произнес: «Не кричи». Я снова закричал. Он встал.

Слепленный из белой глины, человечек сейчас явно был из живой плоти — как настоящий человек, только раз в двенадцать уменьшенный. Очень красивый (что вызвало у меня чувство едва ли не отцовской гордости за свое творение), ладно сложенный, изящный. У него были белые кудри и нежная-нежная кожа.

Вероятно, его смущала нагота, он сжимался, вновь норовил присесть. Я вспомнил, что уделил особое внимание вылепливанию его половых органов, они были восхитительно рельефны. Я взял его к себе на ладонь, поднял поближе к глазам и стал внимательно рассматривать целиком. Человечек напряженно молчал: чувство стыда исчезло перед

страхом высоты. Он мучительно улыбнулся. У моего Адама были умные синие глаза, ровные зубы, благородный профиль. А фигура просто загляденье: в моем сознании в период творения, видно, витали Аполлоны из Эмильевой книги.

Я поставил его на стол и спросил: «Ты хочешь есть?» Он кивнул головой поспешно, но все же с достоинством. Я судорожно вспоминал Свифта — из чего ел и пил Гулливер в стране великанов?

Его нужно было и одеть. Я вынул из кармана вполне чистый носовой платок. Глиняный человечек вопросительно взглянул на меня. Я взял ножницы, свернул платок вчетверо, вырезал горловину и положил одежду возле человечка. Он тут же продел платок через голову, как хитон. Я подал ему нитку, он подпоясался. Через время он насытился крохотными кусочками колбасы, сыра и хлеба, которые я отщипнул от Эмильевых запасов. Попил соку из крышки от флакона с лекарством — он держал ее двумя руками, как колодезное ведро.

— Откуда ты взялся? — начал я допрос.

— Не ты ли выпил меня вечером?

— Но я лепил игрушку!

— Я и есть твоя игрушка, — горько сказал он. — Или нет?

— Ты живой?

— Любое настоящее произведение искусства живое.

— И статуи Эмиля живые? — удивился я.

— Не все. Шедевры — да. Но они ожидают только перед Создателем. — Он говорил живо, со знанием дела.

— Эмиль мне ничего не рассказывал.

— Но разве ты расскажешь ему обо мне? Ведь для него я буду лишь антропоморфным куском глины. Кто тебе поверит?

— Как тебя зовут? Меня Виктор. — Совершая церемонию знакомства, я едва ли не протянул ему руку, но вовремя остановил себя.

— Тебе решать, как меня будут звать. Ты мой Создатель.

Раздался звук шагов, это, видно, возвращался Эмиль. Я снова бросил взгляд на Адама: на столе лежала изящная глиняная статуэтка в моем носовом платке. Уж не галлюцинации ли у меня на нервной почве?

Эмиль пришел не один. С ним была Цецилия, по паспорту Ирина — актриса местного театра, милая круглоглазая девчонка лет двадцати трех. Она явно благоволила ко мне, и Эмиль привел ее, как видно, развеять мою грусть-тоску.

Мы выпили вина из длинных фужеров на витых ножках. Затем из них же водки. Эмиль закурил

трубку, ему это очень шло. Цецилия отправилась в туалетную комнату.

— Как Рита? — коротко спросил я.

— Я не провожал ее. Просто позвонил и сказал, что ты ее прощаешь. Она заплакала.

— От унижения, что ли?

— Наверное. Хотя, может быть, ей будет плохо без тебя. Ее больше никто не любит. — Эмиль медленно закрыл свои небольшие, но бархатные, с поволокой глаза, рука с трубкой повисла в воздухе.

— Эмиль, а вот эта женщина — славная толстая Нана — не пристает к тебе по ночам?

Он вздрогнул, распахнул глаза. Неужели все это — оживание произведений искусства — правда?

— Не пристает. Ты здесь случайно уже не заливал горе спиртом?

Вернулась Цецилия, села, пахнущая духами, рядом со мной. Рот ее был накрашен свежим слоем помады, щечки чуть поддумяны. Я обнял ее — женщину, желающую мне нравиться. Эмиль пошел искать себе очаг в соседнюю комнату.

Мы с Цецилией пили, пили, я обнимал ее, зацеплял, называл Ритой (она поправляла — меня зовут Ирой), Маргаритой, Марго, Гретхен... Ее волосы цвета пережаренного каштана проникали в мое горло, меня от них мутило, она же специально брала в рот мои довольно немытые пряди, с наслаждением обсасывала их, стонала... Я выпил так много, что Цецилия раскачивалась передо мной, хотя, быть может, так оно и было в любовном безумье, я кричал: «Я люблю тебя, Рита!», и тут пришла Рита, из-за меня не улетевшая в Европу с туристами, а я, мокроволосый, лежу на дубовом столе, на спине занозы, и на мне нагая Цецилия, и Рита ушла, рыдая, все в той же фиолетовой юбке... А свидетелем всего этого на краешке стола был глиняный человечек, бред моего воспаленного воображения, он со страхом и жалостью смотрел на мой жизненный бедлам, он, кажется, молился мне: «О Господи Мой, опомнись! Ведь Ты, Боже, и за меня теперь ответственен перед природой, перед совестью, перед Собою...» В моей голове все помутилось — люди-скульптуры, живая глина...

«Цецилия, ты слышишь, что говорит эта кукла?» — сумасшедшее закричал я, подступая к любовному апогею. «Что ты, милый, о ком ты?» Она произнесла эти слова отрывисто, как дыхательную гимнастику. «Ты разве не видишь, что он живой?» Я указал пальцем на свое творение. «Нет же, это фигурка из глины». Я ударил кулаком по Ада-

му. Мы втроем одновременно закричали и после недолгой борьбы затихли.

…Наутро я проснулся в своей спальне. Потянулся обнять Риту. Где же ты, моя девушка-одуванчик с маленькой грудью и маленьким сердцем? И приснится же такая катафасия про глиняного человечка! Надо бы сделать той Цецилии из театра предложение: такие сны, вероятно, не что иное, как желание отцовства.

Я с трудом встал, нашел свой пиджак. Достал из кармана сигареты и зажигалку, бросил пиджак на кресло. Что-то ударилось о деревянный подлокотник. Я вновь схватил пиджак в руки. В другом кармане лежал изувеченный глиняный Адам — он был сломан пополам, голова сплющена. Носовой платок-хитон был весь пропитан запекшейся кровью. Я вспомнил, что убил человека.

## КУНСТКАМЕРА КНИГ

**T**аких старых домов в Астане осталось очень мало.

Поднимаясь по лестнице, замусоренной пустыми сигаретными пачками, жухлыми осенними листьями, конфетными обертками, казавшимися по дороге к Книжнику едва ли не фантами судьбы, Борис прислушивался к неровному ритму сердца. Обычно оно так колотилось, когда рядом был Кирилл. Это было раньше. Борис мучительно любил его. Безответно, с надеждой. Но Кирилл умер.

Дверь открыла юная особа лет шестнадцати: из буйства пшеничных волос, рассыпавшихся по плечам, выглядывают васильковые глаза. Борис улыбнулся:

— Ты, наверное, Иванна? Здравствуй! А отец дома?

За спиной Иванны показался Книжник. Но, увидев Бориса и что-то буркнув ему, вновь скрылся в глубине комнаты. Он был в сером пиджаке, потертых черных джинсах. Русая борода практически закрывала половину его лица, длинные волосы — половину спины.

Сердце Бориса заколотилось. Книжник был сильно похож на Кирилла! Борис вспомнил, как «узнал» Кирилла в священнике — в церквушке, где пытался превозмочь потерю любимого человека. Неужели возвращается болезнь? Прочь, прочь — больше не выдержу глубокого и одновременно наивающего больничного потолка.

Ходили слухи, что Книжника могли увидеть только влюбленные, сумасшедшие и дети. Борис увидел: влюбленный в умершего, сумасшедший от этой любви, порой по-детски непосредственный, он явно относился к свите этого странного человека, занимающегося необычным делом.

Иванна посторонилась, и Борис прошел в прихожую. В квартире стоял неприятный запах — прелости, пыли, чего-то еще? Мебель была подержанная, но неплохая. На вешалке размещались серый мужской плащ и, как видно, вещи Иванны — нарядные красное пальто, белая курточка, синий плащик. В углу — небольшой раскрытый зонт веселой расцветки.

Книжник вернулся в прихожую, неловко снял с вешалки свой плащ, наспех оделся и, пригласив Бориса жестом в комнату, покинул квартиру.

— Меня зовут Борис. Я от Жаната. — Борису ничего не оставалось, как представиться девушке.

— Угу, — как бы пропела Иванна.

— Хозяин всегда так нелюбезен? — улыбаясь, спросил Борис.

Васильковоглазое создание вызывало у него живой интерес. Нежная кожа и изумительно рельефно выписанные губы Иванны будили в нем чувственность.

— Папа очень спешил. Жан сказал, что вы хотели полечить душу. Пожалуйста, проходите.

Иванна распахнула дверь в большую соседнюю комнату. Длинные и высокие стеллажи с книгами. Борис вплотную подошел к ближайшей книжной полке.

Так вот оно что — в квартире царил запах умирающих книг. Книжник был создателем особой кунсткамеры.

Борис почувствовал острую жалость к экспонатам этого спонтанного музея. Здесь жили книги, искалеченные людьми. Их, алчущих заботы, было много. Обожженные, залитые водой, забрызганные грязью, растоптанные ногами в пыльной обуви. Забытые кем-то на чердаках, в подвалах и там полуистлевшие. Брошенные на

произвол судьбы и обточенные грызунами и насекомыми. Жестоко измятые, изрезанные, разорванные.

Страшные судьбы этих книг были сродни человеческим — книга-утопленница, книга — Жанна д'Арк, книга-калека. Запах, исходивший от умирающих книг, служил сигналом SOS, умоляющим спасти еще живые книжные души. Это был утробный, звериный зов к спасению, и Книжник умел его слышать.

На Бориса с обложки искореженного «Слова о полку Игореве» будто взглянули глаза Ярославны: русская Андромаха кричала взглядом и о судьбе молодого мужа, и о судьбе умирающей книги, обиталище своей скорби. Рядом боком («Слово...» стояло в анфас) приотился тоненький томик Лорки без обложки. Он был натянут, как струна, от стыда за свою нагость, жалок, истончен.

Кунсткамера была и музеем, и одновременно лазаретом истерзанных книг. Книжник, как было видно, не только спасал книжные души, но и реставрировал книжные тела. В общий ароматический букет кунсткамеры решительно вмешивался запах клея. Десятки книг лежали под прессом, десятки пациентов ждали своей очереди на операцию: книгам промазывали их раны, ампутировали прогнившие органы, бережно чистили страницы, обмывали кожаные переплеты.

Борис лег в кунсткамере на пол. Он молчал.

Умирающая книга была способна на отдачу. Агонизируя, она обретала способность к мощному энергетическому воздействию. Книга собирала все свои силы для читателя, считая его последним, готовящим ее к погребению. Лакуны, зияющие на месте уничтоженных страниц, заполнялись особой мудростью. Обогащение энергетикой через агонию книги — сильнейший интеллектуальный и психологический акт, но только для чистых, чутких душ, для тех, кому книга хочет подарить самое себя.

Иванна тоже прошла в комнату. В свое время она прочла здесь не один десяток умирающих книг. Искренне говорила с Библией в дырявом кожаном переплете, как с ветхой странницей в изношенном плаще... Слово Божье подготовило к пониманию художественной правды. Мощным шпилем в небо взвился Илион. В туннеле жизненного пути осветилась итоговая Итака. Одна за другой занимали свои ниши в сознании девочки легенды о Нibelунгах, Фаусте, Дон Жуане, Кармен, Великом Инквизиторе. Данте провел Иванну по всем кругам ада и вывел к раю. Отношения Гектора и Андромахи, Петра и Февронии, Игоря

и Ярославны, Ромео и Джульетты показали существование истинной взаимной любви. Жертвенность в чувствах пришла с болью Диодона, Гретхен, Офелии, гончаровской Веры. Мефистофель и Воланд раздвинули завесу в Царство Тьмы, куда Иванна с болью не отпускала Фауста и Мастера. Лермонтовский Демон поцелуем обжег губы. Байрон и Блок качнули маятник вселенской скорби. Порвалась звенящая струна Лорки. Цветаева брызнула кипящим словом. Рильке затянул эту рану. Непепелящим солнцем разлилась гармония пушкинского письма.

Книжник счастливо наблюдал тогда за преображением Иванны. Ее хорошенъкое лицо стало красивейшим. Девочка словно превращалась в светлую мадонну.

Она была бы душевно взрослею своих шестнадцатилетних ровесниц, если бы Книжник не сделал ее жизнь аскетичной. Иванна практически ни с кем не общалась, по желанию отца получала домашнее образование, они вели очень уединенный образ жизни.

Иванна смотрела на Бориса. Он открыл глаза и вдруг понял, что исцелен. В его синих глазах плыл новый фрегат.

В прихожей раздались шаги Книжника.

— Папа, я здесь, — негромко сказала Иванна.

Борис встал с пола. На душе было легко. Он улыбнулся Иванне, сейчас похожей на фарфорового ангелка. Девушка была для него настолько притягательна, что он поспешил выйти. Она не выходила из головы.

В прихожей Борис открыл бумажник и вынул несколько крупных купюр.

— Я очень благодарен вам, пожалуйста, возьмите, — протянул он в прихожей деньги хозяину дома.

Но тот ушел в соседнюю комнату и отвечал уже оттуда:

— Я никогда не беру денег.

— У меня дома есть Библия, старая, почти ветхая. Можно, я отдаю ее вам в знак благодарности?

Иванна уже стояла рядом с Борисом.

— Папа, можно я схожу с нашим гостем за Библией? — крикнула она отцу.

Книжник жестко ответил:

— Иванна, нельзя!

Но не вышел.

— Я только за книгой. Туда и обратно, — взмолилась девочка.

Иванна быстро обула ботинки, сдернула с вешалки плащ и выскользнула из квартиры.

Книжник был растерян, раздосадован, испуган — его дочь раньше всегда была послушной.

\* \* \*

Они поехали на Левый берег, в сторону Байтерека.

Иванна своими большими, удивительными глазами всматривалась в непривычную для нее роскошь квартиры Бориса.

Пол был устлан плотным синим ковром. На диване и креслах — в тон ковра пледы с выдавленной на них крупной клеткой. У врачающегося кресла, придинутого к письменному столу, — большая статуэтка в виде гепарда. Фарфоровое животное, вытянув передние лапы, оскалив в зевке розовую пасть, преданно и вольготно лежало у ног хозяина. Борис сидел в этом кресле, развернувшись к Иванне, ласково наблюдая за ее взглядом.

В жадном, бархатном цвете глаз Бориса, в их яркой синеве плавал фрегат бережной любви...

Иванна потрогала фарфоровый нос гепарда. И как этот гепард еще не разбился, ведь он всегда под ногами?

Ей было очень беспокойно.

Борис не посмел предложить ей домашнюю обувь своей жены Жени, и Иванна стояла босоногая. Боясь повредить хрупкое душевное устройство девушки, мужчина не двигался, в нервных окончаниях его пальцев постепенно возникало жжение. Иванна вздрогнула. Мужчина сделал шаг к ней, он не спускал с нее глаз.

Он хотел быть для Иванны добрым джинном — предугадывать ее желания, исполнять их, зrimо или незримо всегда быть рядом. А ей ничего от него не было нужно. Пожалуй, только чтобы сейчас он был рядом.

Девочка развернулась к нему своей тоненькой фигуркой. Прямо посмотрела в глаза. Кожа возле самых глаз его была чуть темнее основного тона, сгущенно-синие радужные оболочки излучали добро. После пристального взгляда глаза в глаза Иванна прижалась к Борису. В тишине они упоенно замолчали.

— Ты мне снился.

— Правда? — Борис почувствовал, как физически слабеет перед открытостью чувств почти ребенка, доверившего ему себя в закрытой квартире на девятом этаже.

Закукарекали электронные часы — восемь часов. Иванна рассмеялась:

— У тебя здесь живет петух? Где ты его прячешь?

Борис шутя окинул взглядом свою комнату.

Иванна опустила глаза. Борис прикоснулся губами к ее волосам, провел ладонью по ее руке. Она лынула к нему.

— У тебя красивые руки, Боря. Я бы с радостью их поцеловала.

Иванна взяла в ладони его руки и едва прикоснулась к одной кисти губами. Он наклонился к ее лицу и поцеловал... Было чувство, что он целует не человека, а ангелка — такого, как на рождественской открытке.

Борис прижал ее к себе и ощущал силу разных граней любви: любовь-любовь — к Иванне, одновременно — любовь-жалость к Жене (как она это переживает!) и любовь-благодарность к Творцу, пославшему ему замену Кирилла, которого он тоже любил (любит?) любовью-любовью... Иванна высвободилась из крепких рук. И вдруг вновь обняла его, за шею.

— Ты хороший? Ты меня любишь? А как же твоя жена? — Иванна выпалила три вопроса подряд и теперь испытующе смотрела на Бориса. Он был близко: ей хотелось потрогать его лицо, четкие брови, блестящие, заброшенные назад волосы. — Мой пapa сказал, что она замечательная.

— Твой отец знает мою жену? — автоматически спросил Борис, не сводя глаз с ее акварельного личика.

Иванна не ответила.

— Если пapa вдруг узнает, что ты меня целовал, он больше не пустит тебя к нам. И тем более меня к тебе.

Иванна наконец потрогала лицо и волосы Бориса. И, будто обжегшись, отдернула руку.

Кукареку. Девять часов. Скоро придет жена — Жена.

— Малышка, я, пожалуй, провожу тебя домой. Уже поздно. Не скучай, мы теперь всегда будем вместе, — сказал Борис.

Васильковые глаза вопрошали. Темно-синие глаза успокоили васильковые.

Уже выйдя из подъезда, Иванна ойкнула и тихонько напомнила Борису:

— А Библия? Я же за этим отпрашивалась у папы. Эх ты, заговорщик...

— Ох, я от счастья обо всем забыл. Придется вернуться, крошечка моя.

С неба смотрела первая звезда.

— Я побуду на улице, Боря.

Ангел Иванна улетала на небо.

\* \* \*

Все, к кому он прикасался, умирали? Нет. Не новый же доктор Фаустус появился на свете.

...Борису запомнилось, что до кунсткамеры его довел Кирилл — да, да, руки, державшие Бориса за плечи, были, конечно, руками Кирилла, и ничими больше не могли быть эти нежные, чудесные руки. Существование Кирилла где-то рядом с ним

натолкнуло Бориса на мысль: я умер. Иванна отправилась туда же, где сейчас обитает Кирилл, — значит, она тоже где-то здесь. Ее сбила машина, а он, Борис, умер от горя. Обманувшись, он не глубоко заснул. Но наутро Женя вывела его из кунсткамеры книг в зал, и несчастным глазам его предстал белый гробик с умершей девочкой.

Иванна лежала ангелочком, пухлые губки ее были бескровны, веки, большие, млечные, отекли, как от долгих слез.

— Девочка моя, ты плакала...

Борис обнял гроб руками, жадно глядя в лицо покойной. Из глаз его закапали крупные слезы.

— Мой ангеле!.. Ты любила меня. Я любил тебя.

Женя вскрикнула:

— Что с ним? Он сходит с ума...

Она сильно испугалась.

— Несчастный... — в ужасе забормотала она, следя за безумными жестами Бориса. — Он вновь страдает. Это его карма...

Борис, обессилен, упал на пол, схватился за свои волосы, начал стонать-рычать.

— Сделайте что-нибудь. Он не в себе, ему больно! — Женино лицо напряглось от непонимания. Она заплакала.

Книжник набрал номер скорой помощи:

— Здравствуйте. Примите вызов. Умер человек, и другому человеку плохо. Нервный срыв.

— Он любил ее? Любил? — Женя заметалась по квартире.

— Я не знал этого. Женя, родная моя, успокойся, я сейчас вернусь. Мне нужно встретить врача.

Книжник вышел.

— Что же это? — Она подошла к Борису. — Боря, Боречка...

Он никого не узнавал. Глаза его стали словно матовыми. Казалось, Господь из жалости отключил его разум.

Зашли Книжник с врачом. Борис поднял неживые глаза на незнакомого человека.

— Это сестра пациента? — Врач сочувственно кивнул головой в сторону гроба.

— Нет, она ему не родственница.

— Она моя невеста. Иванна, скажи им, скажи, что ты моя невеста, ведь никто не знал об этом. — Борис опять заплакал, взял в руки восковую ладонь Иваны, осыпал ее мокрыми поцелуями.

— Отведите его от гроба, уложите. Расскажите о состоянии пациента. Чем он болел, есть ли хронические заболевания? — Врач обвел взглядом Книжника и Женю. — Здесь есть его родственники?

— Да, я... Я его жена. Он здоров. Немножко не от мира сего. Боря очень талантлив... Я не знаю,

что с ним случилось. — Женя беспомощно посмотрела на Бориса, метнула взгляд к Книжнику и запрыдала. Всхлипывая, сжимая голову руками, она вышла из комнаты.

...Напичканный лекарствами, Борис забился в кунсткамеру и не покидал ее пределов. Тело Иванны в белом, кукольно-пышном платье утопало в цветах. Женя смотрела на застывшее лицо маленькой мадонны: оно было необыкновенно правильным, такие лица воспеваются в классике. Хорош был рисунок белых губ, прямой нос, почти сливающийся с линией лба, густые спело-пшеничные локоны. Тонкие пальчики скрещенных рук лежали на груди, на оборках платья, и матовые ноготки были похожи на синеватые искусственные жемчужинки, которыми расшили наряд покойной... «Мой ангеле!..» — в безумии взывал к ней вчера Борис. Девочка и была как ангел: с белоснежной кожей, легкими крылышками ресниц... Бог взял ангела к себе, в безмятежье.

Белый гроб окружали венки — «Моей любимой дочери на ее вечный покой от отца», «Ангелку Иванушке от Жени, Бориса и Жаната» (это, видно, заказал Жанат, добрая душа, и он об ангелке, в точку!).

Женя выбежала на улицу. Книжника нигде не было. Она вернулась в квартиру — напуганные лица взрослеющих одноклассников Иванны, застывших, как оловянные солдатики, понуря спина Жаната... Жан обещал проводить Женю после похорон домой, посидеть с ней, успокоить. Ох, Жанат, всегдашая палочка-выручалочка!..

— Жан, ты не видел Книжника?

Он не обернулся на свое имя. Женя дернула его за руку, повторила вопрос.

— По-моему, он с Борисом. — Голос Жаната был неожиданно более высоким, чем всегда, каким-то визгливым. Может быть, сдавленным от внутреннего плача?..

Женя открыла дверь в кунсткамеру. Борис спал или находился в забытье, возле него в раздумье сидел Книжник.

— Кирилл! — окликнула его Женя.

Книжник обернулся.

— Зачем мы мучили его, Кирилл?

— Женя, разве мы мучили его? Борис изводил меня своей влюблённостью. Твой муж преследовал меня. Его выходки пугали, он угрожал членовредительством, самоубийством. Ты жила и живешь с сумасшедшим. У меня не было другого выхода, как исчезнуть, уйти из его жизни. Скаться мертвым. Я не понимаю, почему Жан дал ему мой адрес.

— Я боюсь тебя! — Она осеклась, с болью закусила нижнюю губу. — Борис так и не справился с потерей тебя. А тут новое горе.

Она выбежала из комнаты. Кирилл бросился за ней.

— Ну хватит бегать, Женя! Ты становишься похожа на него.

— Уйди из моей жизни! Я не знала твою Иванну, но чувствую, что она отняла у меня мужа. Раньше его отнимал у меня ты!

— Ты несправедлива ко мне и моей дочери. Я не сделал тебе ничего плохого. А она вообще была практически дитя. Подожди же, Женя, я...

Девушка теребила телефонный аппарат.

— Такси? Пожалуйста, машину. Что? Куда ехать? — Женя назвала адрес своей подруги. Положила трубку и на несколько минут присела, уткнувшись лицом в рукав куртки.

Кирилл был обессилен гибелью дочери, непосредственной близостью почти сумасшедшего Бориса, мучительными разгадками союза «Ивана + Борис» — правда? бред сумасшедшего Борьки? правда?.. Он отступил от Жени и дал ей возможность выйти на улицу. Подошел к Жанату, который пристально смотрел вслед Женке, нервно топтался на месте и был не на шутку встревожен.

— Куда она уехала?! Что-то случилось?! Она вернется? — неожиданно грубо и резко, видно, волнуясь за Женю, спросил Жанат.

— Нет, все в порядке, друг. Нужно привезти одного человека. Женя потом сразу поедет на кладбище, — тихим голосом согнал Кирилл. Его задел бесцеремонный тон Жаната, но Иванна очень любила Жана, и ее отцу не хотелось, чтобы Жанат ушел вместе с Женей: его пост сейчас у тела умершей.

— Я поеду с ней. — Жанат выскочил на улицу.

Жени уже не было.

Кирилл вышел вслед за ним и повторил:

— Я же говорю, брат, что она вернется. Скоро вернется.

Лицо Жаната было недобрый.

— Я отправил к тебе тогда Бориса не зря.

Кирилл вздрогнул.

\* \* \*

...Подруги не оказалось дома. Женя поехала к себе. Сначала она немного полежала, закутавшись в клетчатый плед, затем включила компьютер. Обрадовалась — пришло письмо от Марка из Штатов. Вот кому можно излить свое горе: Марк разберется в создавшемся лабиринте, что-нибудь посоветует, посочувствует. Письмо почему-то

было на русском языке — может, Марк прогнал текст через электронный переводчик? Но текст был грамматически правильный:

«Ну, Женя, я считаю, настала пора сказать в полный голос: я отомщен...»

«Что это значит? — забеспокоилась добрая Жененька. — У него были какие-то проблемы?»

«Марк? — продолжалось письмо. — Неплохая маска. На самом деле меня зовут Марлен Алимов. Помнишь такого?»

Женя отпрянула от экрана. Это был старший брат Жаната (старше его на год), Мара. Внешне они были похожи, как близнецы.

«Несколько лет назад ты испортила мне жизнь, и я отомстил тебе. Это стоило мне денег и сил, но итог феноменален. Ты не живешь в Америке: вы по горло нахлебались чиновничих отговорок! Главное: ты лишилась мужа! Он явно сошел с ума. Я видел его сегодня: Борис почти разлагается. Он бросит работу, и ты вновь станешь нищей.»

Я писал тебе, конечно, не из Штатов — из Джезказгана, порой из соседнего с твоим дома. Я был с тобой и с Борисом всюду; сегодня меня, а не Жаната ты спросила: «Жан, ты не видел Книжника?»

Женя вздрогнула, вспомнила, как взяла Жана (Мару!) за рукав — его голос, якобы измененный, высокий голос... Марин голос. Братьев отличал голос — баритональный у Жана, визгливо-высокий у Мары.

«Марлен Алимов мстит тем, кто ему мешает. Каково тебе мое Антиевангелие от Марка? На этом наша переписка заканчивается. Теперь тебе некому будет писать слюноточивые письма: «Ах, Марк, ты живешь на той стороне планеты, а понимаешь меня как никто другой!.. Ах, Марк, а мы женимся с Борисом и уезжаем в Штаты!»

С неуважением, твой враг Марлен Алимов

P. S. Я не простил тебя, хотя и отомщен. И жить тебе осталось несколько минут. Ведь возле тебя сейчас нахожусь я, а вовсе не Жан, как ты сначала подумала».

Жененька закричала, зачем-то резко выключила компьютер из сети. Вскочила с кресла.

Побежала в ванную, ее вырвало. Вернулась. Озnob, сжало грудную клетку, как будто сейчас на грудь бросится злая собака. Быстрым движением Женя закрылась на ключ в комнате. Схватила телефонную трубку, набрала 02. Ей казалось, что

Марлен где-то в квартире. Молодой уверенный голос в трубке немного успокоил ее: «Он бы не дал вам звонить, успокойтесь. У него, видно, не состыковались какие-то намерения. Или он просто решил напугать вас. По вашему адресу отправился наряд полиции».

Марлен был в душном прошлом, а разве прошлое возвращается?

Тесный двухкомнатный особняк возле Джезказгана, выгоревшие на солнце блекло-голубые ставни, отец в ватнике, спрыгивающий с подножки «КамАЗа», сухонькое лицо матери, ее потрескавшиеся руки, собака Кутька на теплой золе возле дома. Женяка девятнадцать лет, она заочница питерского института. Сессия два раза в год. И два раза в год перед Женякиным отъездом — ниагара скандалов в крохотном особнячке. В промежутках — скандалы чуть потише.

— Мама, но ведь я сама заработала себе на дорогу и проживание. — Женякины закусенные губы дрожат.

— Другие дети родителям помогают, а ты только о себе думаешь! Посмотри на соседскую Надю, как она к матери ласково относится. У всех дети как дети, а моя стерва родную мать готова продать за свою выгоду...

— Мама, ведь Надя тоже учится — еще и в коммерческой группе, родители за нее платят тысячу долларов в год. И разве она лучше меня относи...

— Была бы ты человеком, и мы бы с отцом за тебя платили! — Мать яростно строчит пеструю наволочку и не желает слушать Женякиных прекананий.

— Ты говоришь неправду. Вы бы не платили.

Дом, без Женяки зараставший паутиной, жалостно глядел замытыми полами, тусклыми окнами. Он был с печным отоплением, ветхий, с неровными углами. При редких посещениях Женякиных друзей старый довоенный домишко стеснялся самого себя, но больше — скандалов хозяйки: «Женяка, где ты там, черт тебя побери?! Отнеси воды свиньям!» Отнесла. «Женяка, подотри пол!» — «Мама, можно потом, у меня гости». — «Никаких потом, подождут!» Дом сочувствовал сырьим, сырьим нутром.

Женяка беспомощно окинула взглядом кухню — болезненный замкнутый круг!

— Мама, но ведь ты сама образованный человек, бывшая учительница. Я хочу учиться.

— Не то время — сейчас выживать надо, а не учиться. — Швейная машинка опять наставительно заворчала.

Родители были напуганы постсоветским кризисом. Мать, учительница химии, ушла из школы, где платили копейки. Сделала все, чтобы и муж, историк в той же школе, нашел другую работу. Он, недолго думая, взял в аренду грузовик и занялся перевозками зерна, сена, песка, порою сидя за барабанкой целыми днями.

Построили теплицу — огромную, не сразу обойдешь; под строительство теплицы продали «Москвич». Через два года купили иномарку: Женяка-школьница и мать не разгибались в теплице круглый год с утра до вечера. И зачем девочке быть студенткой? Когда учиться?..

...Вот Женякина комната с высокой этажеркой, полупустым шифоньером, кроватью и тумбочкой из плохонького спального гарнитура... Как страшно здесь бессонными зимними ночами одной (нет, нет, не одной — с плюшевым медведем, Миткой), на улице — бурлан, в поселке авария, света не будет скорее всего несколько дней... В доме маленькие окошки, на них — давно не стиранный, штопанный тюль. Деньги в семье берегут, не трятят. Пришлось девочонке, кроме домашней работы в теплице, устроиться (через знакомого!) в типографию наборщицей, чтобы иметь возможность учиться, — дома скандал за скандалом. Мать ударила половкой тряпкой по лицу. Отец вступил... за мать: «Женя, ты почему не можешь с матерью ладить?»

Сердце болезненно ноет. У Митки — лицо, мокрое от Жениных слез, измятая шерстка. Зовут его в честь Димы — эгоистичного молодого человека, многолетней Женякиной страсти. Она любила его, он тоже любил себя... «Ты всегда нервная, затравленная... А мне нравятся уверенные в себе девушки, таких хочется на руках носить!» — С высоты Диминого роста слова звучат веско и хлестко.

Вой ветра, а завтра с раннего утра Жене сквозь бурлан на работу: по занесенной снегом тропке полчаса пешком до остановки, затем — полтора часа маршруткой, до центра города. Девчонки приходят в типографию нарядные, подкрашенные, с уложенными волосами, не спешат, хохочут. Некоторые выходят из соседних многоэтажек не раньше, чем за десять минут до начала работы. А Женяка уставшая, подавленная, в сумке — Митя, ведь надо же кому-то прижаться, если станет совсем худо...

Щелчок в ушах (наверное, трещит время?), Женя с трудом возвращается в реальность.

— Евгения, расскажите, пожалуйста, о Марлене Алимове. — Молоденький полицейский за-

думчиво водит по своей щеке колпачком ручки. По возрасту он не старше Женьки — ему лет двадцать пять, не больше, еще не опытный, но зато очень старательный. Он представился Ильей, без отчества.

— Марлена знаю с детства. Я с детских лет дружна с его братом, Жанатом: познакомились на соревнованиях между школами. Они не близнецы, но очень похожи, почти одинаковые. С Марленом общалась крайне редко, иногда он появлялся возле Жаната. — Голос не слушается Женьку, чуть срывается.

— Они похожи внешне? — переспросил служитель закона.

— Их часто путали даже родители. И я несколько раз. Вот, взгляните. — Женя сняла со стеллажа пухлый альбом, нашла нужную фотографию.

Следователь взял ее в руки. Два высоких, молодых, практически одинаковых парня! Худощавые, скучающие, с красивыми восточными лицами: небольшие умные глаза, чувственные губы. У левого, в светлой футболке и шортах, — открытая улыбка. Правый, в джинсовой одежде, внутренне зажат, но тоже улыбается.

— Черт побери, как они похожи, — удивился полицейский.

— Очень! — подтвердила Женя. — Эта фотография сделана в 1996 году. С того времени я Марлена больше не видела.

— Кто же из них Марлен?

— Тот, что на фотографии справа.

Зазвонил телефон.

— Женя, возьмите, пожалуйста, трубку.

— Алло! Здравствуйте. Это вас. — Женя передала трубку следователю.

Поговорив, он сообщил ей:

— Жанат, как видно, и не знает о смерти Иванны. Выяснилось, что Жанат Алимов уже три недели находится в командировке. Вы знали об этом?

Илья передал фотографию братьев Алимовых своему напарнику.

— Знала, но он, то есть Марлен, сказал, что уже вернулся... Ужас, я разговаривала с ним как с другом, с этим варваром, с этим... — Женя запуталась в словах и эмоциях, сцепила руки, помертвела лицом.

— У вас были с ним конфликты? — Илья записывает Женькины слова.

— Был конфликт, да еще какой! Дело в том, что Марлен, под видом Жаната, жестоко избил своего отца. Отец проклял в тот вечер Жана и выгнал его из дома. А я обеспечила Жанату алиби: мы с ним в ту злополучную ночь верстали мою первую книжку.

...Тот день начался, как всегда, с домашнего скандала. На улице разыгралась весна, и Женька заглянула в шифоньер, чтобы достать свое демисезонное, хорошенькое коричневое пальтишко. Мать в прошлом году расщедрилась и сама сшила дочери пальто — дешево и сердито, но по модным лекалам. И вот это пальтишко в левой верхней части — прямо в области Женькиного сердца — оказалось изъедено молью.

Женька даже вскрикнула. Ведь нет ни плаща, ни куртки — только это пальто, теперь до бахромы изрешеченное на самом видном месте. Мать подошла, сурово посмотрела, ушла на кухню и... принялась в сердцах громыхать посудой, швырять вещи, ругаться и охать, обращаясь к мужу:

— Отец, ну не чучелоли этого гороховое! У всех дети как дети, а эта... Я ее даже кормить не буду, не заслужила завтрака, дрянь этакая! (Не вздумай сесть за стол, Женька!) На всем готовом живет — мебель, постельное белье, печку мы топим, порошком, мылом нашим пользуемся, одной стирки сколько...

Женька вбежала на кухню:

— Папа, ну вступись же за меня хоть разочек, я не виновата...

— Пошла вон! Вечно из-за тебя скандалы, — вспылил отец, который причиной сварливости жены всегда видел дочь.

И Женька пошла вон. Надела пальто с бахромой в области сердца, заботливо уложила в сумку Митю, взяла тетрадки со своими стихами и прозой. После недавней поездки в Питер денег почти не осталось — взяла последнюю двухсотку. И пошла вон. Она очень любила родителей, но не знала, что делать.

Прошлое не отпускало Женьку, давило пахнущими железом пальцами.

— Женя, не уходите в себя, нам сейчас понадобится ваша помощь. — Илья легко прикоснулся к плечу девушки. — У вас есть другие фотографии Марлена Алимова? На той, что вы показали, он снят слишком мелко. У подъезда задержан молодой мужчина восточной внешности, возможно, это Марлен Алимов. Думаю, он ждал, что вы только сейчас придете с похорон Иванны.

Девушка испуганно посмотрела в сторону дверного проема. Сейчас она, наверное, увидит живые маленькие глаза, окаймленные длинными, растущими вниз черными ресницами, нервные пальцы сильных рук, подкачанный торс... Вот так же пристально и затравленно Женя всматривалась

тем мартовским днем в даль улицы, правда, ожидая хорошего человека — Жаната.

Семья Алимовых жила в «Дворянском Гнезде» — престижном загородном районе. Лежбище двух- и трехэтажных особняков отделилось от промышленного, зимой черноснежного города — простому смертному туда попасть не так-то просто.

О Женькиных семейных злоключениях Жан узнал недавно. Иногда она порывалась рассказать ему о себе, но умолкала, растерянно улыбаясь, убирая за уши свои мягкие волосы. Он не торопил ее. Несколько раз заезжая за Женей, он, конечно, уловил нездоровую атмосферу в их семье. Как-то будто невзначай предложил Жене денег. Она отказалась: «Что ты! Мне мама даст денег, я не нищая». И лишь однажды сама попросила, когда собиралась поступать в питерский институт, а мать в истерике чиркнула спичкой и сожгла купленный Женькой железнодорожный билет в Петербург. Плача, Женька горько пожаловалась на свою семью оцепеневшему от такой правды парню. Через два дня он провожал ее на поезд...

Сейчас она позвонила Жанату на мобильный от соседки, принявший, видно, ее необычный наряд за домашнее пальто, в котором кормят скотину. Женька горячо произнесла в трубку: «Мне нужна помощь!» — «Где мы встретимся? — сразу же отозвался ее чуткий друг. — Возле ЦУМа?» — «Нет, давай лучше в моем поселке, у клуба. Ты сможешь?» — «Я буду через час, мчусь». Протянула двухсотенную бумажку соседке: «Теть Даш, возьмите, я звонила с вашего телефона на мобильный». — «Эх, девка, не по средствам живешь. Недаром мать на тебя на каждом углу жалуется!»

Он приехал через сорок минут. Она сидела на скамейке, прижимая сумку к бахроме на пальто. Жан выскочил из машины. Женька заплакала.

— Ну, совсем разюнилась... У тебя есть я!

— И он! — Женька извлекла из сумки замусловленного Митьку, прижала к груди.

— Ну-у... — заулыбался Жанат. — От меня, положим, пользы больше. А вот носить меня с собой в сумке, к сожалению, нельзя!

Жан снял для Женьки квартиру. И купил ей новое пальто.

Они сидели, обнявшись, и читали тетрадку с Женькиными творениями. Она периодически уходила в себя, сильно переживала, иногда всхлипывала.

Жан не знал, чем ей помочь.

— А давай издадим твою книжку? Я сейчас привезу сюда свой компьютер — набирать и верстать ты умеешь, вот и займемся макетом! Возьми денег, Женя, сходи пока в магазин, купи продуктов, каких хочешь. Я мигом.

Зазвонил мобильный. Жанат взял трубку:

— А, Мара! Да, я сейчас еду домой. Ночевать? Дома буду ночевать. Ты идешь к подружке, угадал? Ну, привет, брат!

— Что это он? — удивилась Женя.

— Марику делать нечего — проверка связи!..

В квартиру завели совсем другого мужчину, не Мару.

— Это не он, — сказала Женя.

...Два часа ночи, они с Жанатом в постели. Как это вышло за версткой книги, никто из них двоих не понял — нежная дружба, чувственное восхищение друг другом, и вдруг тонкий плед на его плечах... (Потом было трудно полностью восстановить былую дружбу, но они оба старались изо всех сил и не дали дружбе умереть, превратиться в любовь или, не дай бог, вражду.... У него прохладное, худощавое тело, ладно нашедшее общий ритм с ее. С Димой было не так: «Ты ничего не умеешь, ты виновата, что у нас не получается, ты...» Жанат нежен, она спокойна. Рядом на подушке лежит Митька с глазами-пуговицами: он, похоже, рад за хозяйку.

— Извини, Жан, но больше никогда не нужно... — А жаркий шепот переходит в поцелуй.

— Конечно, ты же знаешь, что я немного донжуан... Ты нравишься мне иначе. Мы сохраним дружбу... — Он целует маленькими поцелуйчиками ее плечо.

Наверное, так было нужно: она истосковалась по ласке, он дал ей тепло.

Наутро Жан ушел, а через два часа вернулся, бледный, тревожный.

— Женя, ты не поверишь, но меня тоже выгнали из дома. — Лицо Жаната неспокойно, судорожно вздрагивает. — Я ничего не понял, Женя! Отец в больнице, кто-то его жестоко избил. Папа говорит, что это я. Что это?!

Илья подал девушке стакан воды.

Затем сигарету. Она отказалась.

— Мы поехали с Жанатом в больницу, — продолжила Женька. — В палату к Ахметбеку Ильясовичу я зашла одна. Проговорили с ним целый час. Обо мне, о Жанате, о Марлене. Я рассказала ему, что Жан весь вечер и всю ночь был со мной. Добавила, что часов около десяти вечера к нам заходил владелец квартиры, он мог бы быть свидетелем.

— Понадобилась ли вам помошь второго свидетеля?

— Нет. Ахметбек Ильясович поверил нам с Жанатом. — Женя посветлела лицом, вспоминая этот приятный для Жана момент.

— Хорошо! А как был наказан за избиение Марлен? Надо затребовать из Джезказгана дело.

— В суд дело не отдавали, пощадили честь семьи. А Марлен опустошил отцовский сейф и уехал.

\* \* \*

После Женькиной «выходки» с алиби Марлен скрылся из Джезказгана. Уехал на юг Казахстана.

Построил шикарный дом. На это ушла пара лет. Нашел женщину, нет, она сама нашлась, вцепилась в него и дом мертвой хваткой. В загс, конечно, не повел — зачем ярмо на шее? Родилась дочка — черноглазая Дашка, Дария. Жена, зеленоглазая Лиля, боялась мужа как огня. Он нередко избивал ее, месяцами не показывался дома. Что удерживало Лилю возле такого «мужа»? Хм, деньги. Деньги, которых не было у ее родителей. Деньги, которых могло не быть у ее дочери. И плебейская натура неплюбимой, но «верной» жены. Мол, буду век ей верна (потому что хорошему человеку я не нужна).

Дашку Мара наряжал, как куклу. Выносил на улицу, прохаживался по улице между рядами добродушных гигантских особняков (и его дом не хуже!). Соседи из-за высоких заборов умилялись: и на что Лилька жалуется, муж — любо-дорого взглянуть!

Генетическое древо Алимовых было плодоносящим. С генами отца и матери Марлен, как и Жан, впитал гибкий ум, мятущуюся натуру, стремление к первенству. Но использовали братья Алимовы эти качества по-разному. Внешне почти одинаковый с братом, внутренне Марлен был его негативом. В детстве Марик, обидевшись на Жанчика, ударил как-то его легкой гантелькой, а потом связал лежачего, оставил в беседке и не сказал родителям, где братишка. Домашние сбились с ног. Нашли Жаната без сознания. Благо дело было летом. Плачущего Марленчика поставили в угол.

Все, все, что можно, взял Мара от родительского очага: по-английски говорил, как лорд, блестяще разбирался в юриспруденции и экономике. Он был везуч. Деньги липли к его рукам, да еще и в крупных купюрах, и пачками. Отцовскую школу бизнеса окончил на отлично: как казалось Марлену, отец нарадоваться на него не мог, а глупый Жан смотрел в рот сметливому и толковому старшему брату.

Жанчика и отца Марлен решил сейчас не трогать — пусть живут себе. Хороший куш от семьи он урвал, но все забрать не получилось, подвела девчонка, эта нищая сука, со своим алиби. Отец, конечно, не оставит ему теперь наследства. Сорвалась с крючка большая рыба, надо на ком-то сорваться, умыться от стресса. Жертва — Женька.

Было интересно и пикантно следить за ее жизнью... Чувствовал себя неким Диаволом, Творцом сродни Богу, нет, даже могущественнее, колоритнее. Гиперболой. Демиургом Хаоса. Сам с собой вел диалоги, как бы посочнее, покрасочнее разделаться с девчонкой. Раздвоился на Марлена и Марка. Перевоплощаясь в Марка, бывало, даже жалел Женьку, дивился ее доверчивости и искренности. А возвращаясь в Марлену, бил ее по самым слабым местам.

Он любил крики, мучения жертв. Как-то избил и выгнал из дома жену, посмевшую в чем-то возразить ему. Прочь, надоела! Она ушла под дождь, волоча за собой орущую Дашку. А в родительском доме, вся в синяках и ссадинах, устроила истерику: помогите вернуться к нему, как же я без денег, без моего (!) дома, с Дашкой-обузой! Отец и мать сходили к зятю, прогнулись, чуть ли не в ногах лежали: он взял Лильку обратно. И с тех пор начал выгонять частенько — наслаждался ее судорожным желанием вернуться в трехэтажный ДОМ, в котором ей не принадлежало ни метра. Променяла женщина честь-совесть, родителей, покой крохотной дочери, да и свой покой на особняк — мощная эта сила!

С наслаждением, болезненным наслаждением Марлен избил в 1996-м отца...

Нет у казахов греха более страшного, чем поднять руку на отца: Мара впитывал это правило с молоком матери. И можно ли теперь считать его нормальным — его, осознавшего себя преступником и животным?..

В остервенении казалось тогда Маре, что он барс, впряженный в одну упряжку с туром: мясо, живое мясо рядом, а зубы в вечной слюне, и вот либо погонщик (Марина совесть) отвлекся, либо тетива упряжи лопнула — и тур, растерзанный, но по-воловьи упрямый, гордый горец, страшно стонет, мычит, бьется, и кровь — кр-р-ровь! — бежит по бокам его и по Мариным шерстистым барсовым бокам... Пятна крови на куртке Марлена сливаются с барсовыми пятнами, сознание на секунду меркнет, морда тура теряет очертания... Отец!.. Я не казах! Я деръмо!.. Я позорю твой род! Аксакал, ты простишь меня, отец! Но деньги, истинные Марленовы душевые сокрови-

ща, вновь вспомнились ему, и, подгребая к себе лапой золотые слитки, он зарычал, чтобы в новом барсовом прыжке броситься на теряющего сознание родителя...

\* \* \*

Кирилл поздним вечером сидел на полу, на том месте, где днем стоял гроб Иванны. Приходила нанятая им медсестра делать уколы Борису. Кирилл автоматически поздоровался с ней, автоматически провел к больному. Медсестра оглядела залежки книг, демонстративно втянула носом воздух и посоветовала хорошенько проветрить помещение. Борис закричал: «Нет!..» «Иногда он осознает то, что происходит вокруг...» — с жалостью посмотрел на него Кирилл. Проводив до дверей медсестру, он вернулся в кунсткамеру, еще раз взглянул на Бориса. Тот уже спал. Кирилл не знал, что связывало его дочь и этого красивого мужчину, измучившего раньше своими чувствами его самого. К стене прижался Иванкин школьный портфель.

Звонок в дверь. Кирилл открыл, не спрашивая. На пороге стояла Женя! Короткие волосы растрепались, плащ нараспашку. Какое счастье видеть Женю в череде беспрерывного горя! У Кирилла заколотилось сердце.

— Женя, уже ночь, опасно ходить так поздно, — забеспокоился Кирилл, скорее пропуская ее в квартиру.

Они прошли на кухню.

— Я приехала на такси. Да, опасно. Особенно сейчас.

Она рассказала про Мару. Кирилл встревоженно следил за ее рассказом.

— Сколько боли на свете, — наконец произнес он. — Марлен стоял у гроба моей девочки. Он мог бы причинить тебе боль...

— Кирилл, ты всегда в первую очередь думаешь о других.

— Я осиротел. — Он отвернулся.

— Кирилл, поплачь. Может, так станет легче. Мне очень жаль, что погибла твоя девочка! Я искренне говорю об этом, хотя она и отняла моего мужа.

— Ну что ты выдумываешь!.. Я же говорю — она была почти ребенок! К тому же Боря никогда и не был до конца твоим, Женечка. Мы все это понимали. — Боль о дочери взяла над ним верх, но тон голоса продолжал оставаться добрым.

Женя устало опустила глаза.

— Женя, Борис здесь, с тобой, он никуда не деляся.

— Как он себя чувствует? Я зайду к нему.

— Зайди. Он спит. Ему сегодня вкололи какое-то сильное лекарство, — с сочувствием сказал Кирилл.

— Значит, пусть поспит, ему сейчас так плохо. И не до меня. — Она горько вздохнула.

Женя откинулась на спинку стула. И вдруг стала с нежностью наблюдать за движениями Кирилла: он хлопотал ради нее — включил электрический чайник, достал банку кофе, белый хлеб, сливочное масло... Кирилл заметил ее взгляд:

— Помнишь, Женя, тот сентябрьский день, когда мы с тобой повстречались?

Она помнила.

Женя пришла на площадь Матери Республики в Астане в семь утра, зябко кутаясь в кожаный плащ.

Скульптура каменной женщины с чашей в руках. Площадь уже жила людьми. В Казахстане ждали мессу Папы Римского. Боря обещал прийти к десяти. Площадь все больше оживала. Борис пришел чуть раньше, но минут двадцать искал Женю. Нашел, улыбнулся, встал рядом. Глаза его блуждали, он что-то шептал вслух. Женя всегда боялась за него — Борис балансировал между здоровьем и едва ли не безумием.

«Каждый следующий за Христом — совершенным человеком — сам становится больше человеком».

Папа включал в свою приветственную речь фразы на разных языках, в том числе на казахском. Рядом высилась стройка: на верхних этажах недостроенного здания в благоговении застыли рабочие... Все словно породнились.

Женина рука оказалась в чьей-то теплой, доброй. Незнакомый русый мужчина лет тридцати взял за руки Женю и Бориса. Они познакомились:

— Кирилл.

— Женя. Славинская, — Женя очень нравилась ее фамилия (по мужу), и она добавляла ее теперь при всяком знакомстве.

— Борис Славинский.

Женя рассказывали, что эта месса состоялась в 2001 году. Но не могло же привинуться всем троим?

Она ждала чуда. А чудо посетило Кирилла и Борю: Кирилл получил в дар любовь к Жене, Борис — к Кириллу.

Каждый выбрал свой крест, а Женякин крест — Борька — лежит сейчас в кунсткамере книг и отчаянно борется с собственным сердцем.